Для цитирования: Скиперских А. В. Интеллектуалы и политический дискурс сопротивления (зарисовки русской культуры) // Социум и власть. 2020. № 2 (82). С. 80—89. DOI: 10.22394/1996-0522-2020-2-80-89.

DOI: 10.22394/1996-0522-2020-2-80-89

УДК 321.011

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС СОПРОТИВЛЕНИЯ (ЗАРИСОВКИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ)

Скиперских Александр Владимирович,
Елецкий государственный университет
им. И. А. Бунина,
профессор кафедры философии
и социальных наук,
доктор политических наук, профессор.
Российская Федерация, 399770,
г. Елец, ул. Коммунаров, д.28.
E-mail: pisatels@mail.ru

Аннотация

В данной статье автор показывает, как в политическом процессе происходит взаимодействие между властью и сопротивлением. Акторы, представляющие сопротивление, постоянно производят политические тексты, свидетельствующие об их альтернативной позиции. Существование субъекта сопротивления в критическом состоянии в отношении действующих институтов власти исторически предопределено, что доказывает активную рефлексию на это со счёт со стороны видных теоретиков политической мысли. Свободный диалог власти и сопротивления едва ли возможен в каждой отдельно взятой политической системе. В случае тоталитарных и авторитарных режимов данный диалог может быть затруднён. Последствия свободного волеизъявления для субъекта сопротивления могут быть довольно жёсткими.

Автор пытается проанализировать политический дискурс сопротивления на примере советской культуры. Автора интересуют метафоры сопротивления и их политический контекст, представляющийся неизбежным условием и рамкой, ограничивающей творчество того или иного интеллектуала.

В статье будут разобраны некоторые тексты представителей советской культуры, использующих метафоры сопротивления и имевших репутацию возмутителей спокойствия. Подобная позиция интеллектуала порождает санкции репрессивной машины и предопределяет вполне конкретные формы презентации текстов сопротивления и использующихся фигур умолчания. Для убедительности собственной аргументации автор постоянно обращается к наследию представителей неофициальной культуры в СССР.

Ключевые понятия:
интеллектуалы,
политический дискурс,
сопротивление,
неофициальная культура,
СССР.

Власть существует неразрывно с сопротивлением, выступающим её диалектической оппозицией. Сопротивление — навязчивая тень власти, её страшный сон. Сопротивление исторически присутствует в политическом процессе во всех культурных традициях, вне зависимости от политического времени. В этом заключается сущность сопротивления, равно, как и «необъяснимость бунтующего человека» в попытках противостояния политической машине, отмечаемая у французского политического философа Мишеля Фуко [21, с. 16].

Мотивы радикального экзистенциального жеста человека, определённого ещё одним французским философом Альбером Камю, как человека «говорящего нет», могут быть различными [15, с. 124].

Человек сопротивления представляется оснащённым не только риторически, будучи готовый предъявлять рациональные контраргументы мистическим лжепророчествам лояльных интеллектуалов (вспомним врагов «открытого общества» у Карла Поппера). Он оснащён и материально, что позволяет ему драматизировать практики сопротивления, вырастающего, следуя мысли Тэдда Гарра, из «относительной депривации — расхождения между ценностными экспектациями и ценностными возможностями» [7, с. 51].

Практики сопротивления относятся и к разночинцу, и к интеллектуалу, на котором, как на художнике, изначально лежит ответственность перед обществом, вне зависимости от его симпатий к тому или иному политическому лагерю, что отмечал британский философ Исайя Берлин [4, с. 31—85].

Французский историк Жак ле Гофф определит интеллектуала, как того, «чьим ремеслом станут писательство и преподавание», и кто осуществляет «профессиональную деятельность преподавателя и учёного» [11, с. 8].

В рамках данного текста нам будет близко определение, данное российским политологом Александрой Глуховой. Интеллектуал — «эразмит», стойко и ревностно защищающий свои ценности и производимые смыслы в условиях несвободы, тот, кто «противостоит искушениям несвободы» [8, с. 6].

Это подходит и для характеристики знаковых фигур русской культуры, к текстам которых нам придётся обратиться в данной статье. В ней мы рассмотрим, какие метафоры сопротивления могут использоваться ими для продвижения собственных текстов в политическом дискурсе. Причастность к политическому дискурсу ярких представителей, как русской, так и советской культуры, очевидна. С помощью дискурс-анализа мы попробуем установить в текстологическом наследии того или иного интеллектуала упоминания о сопротивлении, чтобы определить приёмы их описания, или умолчания. На наш взгляд, здесь, в принципе, даже не имеет большого значения положение конкретного субъекта сопротивления и его координация относительно политического спектра. В представленных ниже примерах можно будет увидеть и вполне лояльные системе тексты. Вместе с тем, как справедливо отмечает французский политический философ Андре Глюксман, есть «множество огней, тлеющих под хрупким гражданским спокойствием» [10, с. 42]. Равно с этим, мы обратим внимание и на тексты интеллектуалов, использующих разнообразные метафоры сопротивления, имевших репутацию возмутителей спокойствия, что в итоге и предопределило их жизненные стратегии (ссылка, эмиграция и т. д.).

Формы сопротивления в интеллектуальной истории всегда отличаются. Правда, в них существует и сходство. Если речь идёт об интеллектуалах, то они всегда говорят или пишут, что значительно сужает оптику выявления их орудий сопротивления. Вместе с тем, это вовсе не означает, что они в своей жизни не держали ничего тяжелее, кроме пера или шариковой ручки.

Страсти по оружию: от детских грёз — к реальному действию

Игра в войну — зачастую одна из самых популярных детских игр. В склонности к ней можно рассмотреть как будущий темперамент, равно, как государственную политику, заинтересованную в популяризации милитаристического дискурса. Имперская рамка только усиливает ощущение необходимости в обращении с оружием. Упоминания об оружии встречаются во многих автобиографических текстах интеллектуалов, которым через некоторое время предстоит испытать превратности политического мира.

Владимир Набоков, вспоминая своё детство, пишет об испытываемой им «майнридовской грёзе», проявлявшейся в страстном увлечении оружием. Тогда это были лесные поединки на пружинных пистолетах, заряжаемых ветками. В тот самый момент эталоном оружейной эстетики мог считаться «увесистый чёрный браунинг», хранимый отцом в правом верхнем ящике письменного стола. В. Набоков в «Других берегах»

называет его «обольстительным предметом» [17]. Именно в ящике письменного стола хранится и браунинг отца Серёжи в «Судьбе барабанщика» Аркадия Гайдара. Оружие будет использовано по назначению, что, в принципе, вписывается в политический дискурс того периода времени. Некоторые авторы, здесь, проводят параллель с ситуацией, в которой оказался Родион Раскольников, с той лишь разницей, что «Раскольников упал в обморок в конторе, когда услышал, как обсуждают убийство старухи. Сережа, узнав, что убил человека, «даже не вздрогнул». Советский мальчик отличается от русского студента: первый был преступником, а второй оказался героем. Никакого раскаяния, лишь облегчение» [9, с. 40].

Мятежным выглядит гимназическое прошлое Михаила Пришвина, увлекавшегося марксистскими идеями. Гимназические годы писателя в Ельце — «точка кипения» молодого, революционно настроенного юноши, нетерпимого к унижениям и подобострастию господствующего класса. Его отчисляют из Елецкой гимназии за угрозы в адрес ненавистного учителя географии, которым являлся не кто иной, как русский философ Василий Розанов.

В автобиографической «Кащеевой цепи» нам предстают очень энергичные гимназисты, делящиеся друг с другом самым сокровенным:

« — Ну-ка, посмотри эту штуку, — сказал Рюрик.

И вынул из кармана настоящий шестизарядный револьвер.

Мало того, он сказал, что отец его — офицер и дома у них ещё есть три револьвера, четыре охотничьих ружья, три сабли».

Михаил Пришвин
«Кащеева цепь» (1924)

Конфликт с отчислением озадачил В. Розанова — револьвер оказывается необходимым уже самому философу. В. Розанов упоминает об этом в разговоре весной 1899 г. со своей невестой Варварой Бутягиной в цикле «Смертное» (1913): «В Ельце кой-что мне грозило, и я между речей сказал ей, что куплю револьвер» [19, с. 54].

Ситуации, когда гимназисты угрожали наставникам на волне увлечения марксизмом в конце XIX в. становятся распространённым явлением. Будущие революционеры требуют уважения, диалога на равных. В Елецкой мужской гимназии тогда уже отмечались практики демонстрации оружия. В январе 1885 г. в гимназии разбиралось дело ученика, принёсшего с собой револьвер и случайным выстрелом ранившего одного из гимназистов [13, с. 80].

Константин Паустовский в «Далёких годах» вспоминает историю исключения с «волчьим билетом» одного гимназиста, давшего пощёчину преподавателю. Классный наставник отказался извиниться перед гимназистом после того, как первым обозвал его болваном. После исключения из гимназии, на следующий день гимназист пришёл в гимназию с браунингом и стал гонять своего обидчика по классу, после чего застрелился [18, с. 78]. Первую киевскую гимназия, о которой вспоминает К. Паустовский, часто посещали влиятельные политики того времени, а несколькими классами выше учился русский анархист Дмитрий Багров, который, 1 сентября 1911 г. с браунингом войдёт в Киевский оперный театр и смертельно ранит Петра Столыпина.

Детское увлечение оружием сквозной нитью проходит и в советской культуре. Политические симпатии авторов при этом являются вполне определяемыми. Таков, например, «Кортик» Анатолия Рыбакова. О появлении револьвера в школе вспоминает Юрий Домбровский в некогда закрытом от широкой общественности «Факультете ненужных вещей».

Школьный «авторитет» Лёвка Шулепников носит с собой заграничный пугач в «Доме на набережной» Юрия Трифонова. Уважение к обладателю пугача значительно усилилось после того, как ему пришлось выстрелом успокоить ребят из класса, попытавшихся унизить его из-за модных кожаных штанов. Почти сакральный факт обладания оружием приводит к тому, что «за возможность стрельнуть готовы отдать целые состояния» [20, с. 361].

Увлечением оружием в советской школе нельзя не рассматривать в политическом контексте. СССР постепенно готовился к войне, иначе, чем можно объяснить наращивание шпиономании в интересах государственной машины, роста престижа военной службы, мобилизационные мероприятия, устройства в парках парашютных вышек и т. д. Всё это служило замечательным фоном собственной военной истории, показательных парадов, а также развитию любых других героических нарративов, фиксирующих подвиги советского человека. Вообще, традиционно, пролетариат ассоциируется с оружием, что моментально передаёт в массы советское плакатное искусство и нарождающаяся кинокультура.

В эстетическом плену оружия

Оружейная эстетика пленяет романтично настроенных гимназистов и студентов, производя самый настоящий фурор и усиливая неформальный статус тех, кто обладает этим сокровенным даром. Вот, почему, обладание оружием позиционируется как нечто сокровенное, выступая объектом волнительной гордости.

Безусловно, не все дети одинаковы в своей оружейной страсти. Образ отцовского стола у В. Набокова, сильно отличается от стола, встретившегося нам уже в автобиографическом тексте Вальтера Беньямина. И если у В. Набокова внимание приковано к отцовскому браунингу, то в фокусе интересов В. Беньямина — сложная комбинация природных даров, подобранных им во время прогулок — камушки, каштаны и др. [3]. На контрасте с политическими устремлениями, корни которых уходят в семью (отец В. Набокова — В. Д. Набоков — видный представитель конституционных демократов), отличным выглядит *другой* мир, чуждый насилия. Образ револьвера, бездействующего до поры до времени, сыграл злую шутку с В. Д. Набоковым. В марте 1922 г. он был смертельно ранен в Берлине во время покушения на Павла Милюкова — лидера партии кадетов во время его лекции в филармонии.

Содержание оружия в русской культуре, как правило, осуществляется с высокой долей почтительности. Пленительным эстетизмом проникнуты сами условия хранения.

В «Идиоте» Ф. Достоевского истощённый Ипполит Терентьев отдаёт Лебедеву ключик от сака, где, якобы, находится его пистолет и заряды, хранимые им с детства. Пусть и пистолет в тот самый момент находится в кармане его пальто, но, всё-таки, Ипполит, кажется, готов лишить сам себя жизни или убить 10 человек.

Будет ещё не лишним вспомнить пистолеты Кириллова в «Бесах», хранимые им с высочайшей тщательностью в ящике пальмового дерева, отделанном красным бархатом. Кириллов испытывает явную нужду, но, при этом, чрезвычайно аккуратен в отношении своих оружейных драгоценностей.

Действительно, человек сопротивления может быть очень заботлив в отношении инструментов реализации собственных субъектных потенций. Так заботливы в отношении узелка с взрывным механизмом герои романа А. Белого «Петербург», замышляющие покушение на вершителя человеческих судеб — обладателя чёрной лакированной кареты.

Эстетическое любование своей коллекцией может быть приостановлено в момент истины, по мере приближения к решающему выступлению человека сопротивления, будь то самоубийство, либо покушение на жизнь другого. В эссе, посвящённом Кириллову, Альбер Камю воскликнет, что «с его смертью земля будет населена царями и осветится человеческой славой. Выстрел из пистолета станет сигналом последующей революции» [15, с. 84]. В русской истории «щелканье» пистолета Кириллова было невероятно резонансным. От самоубийства до убийства другого — маленькая дистанция. Русский интеллектуал может не только рассуждать, закрываясь в высокой, зубчатой башне, но и реально действовать.

Образ молодого человека, уважительно обращающегося с оружием, будет просвечивать сквозь других героев, кропотливо воспроизводимых в текстах русской культуры. Вспомним Колю Красоткина из «Братьев Карамазовых», демонстрирующего свою пушечку. Игрушечное орудие функционирует, точно копируя настоящее. Подготовка его к использованию, последовательность изготовления заряда — намекают на высочайший эстетизм самого действа, на его ритуальный характер.

Эстетичен и уход за оружием.

«Однажды я заглянул в комнату Марковича через окно, выходившее на наш балкон, и увидел, как Маркович, напевая, чистит стальной чёрный браунинг». Медные, маленькие пули лежали на столе на раскрытом медицинском учебнике».

Константин Паустовский
«Далёкие годы» (1960)

Эстетическая аура оружия побуждает и к воровству, и, кажется, советская культура может оправдать эту незначительную мелочь. В эмблематичном тексте советской культуры Н. Островского «Как закалялась сталь» Павка Корчагин выкрадывает револьвер «манлихер» у немецкого лейтенанта.

Стремление к обладанию оружием — сам по себе разумеющийся факт для многих рефлексирующих представителей русской культуры. Его необходимость вызвана обстоятельствами, не объяснимыми рационально. Как мы видим, это и детская мечта, грёза, попытки подражания взрослым, медленное втягивание в протест, в революцию. Наряду с этим, здесь можно ещё увидеть и маркировку собственной маскулинности.

Оружие — предмет, который обнаруживается под рукой в период психологического кризиса. У героя «Митиной любви» И. Бунина револьвер хранится в ящике ночного столика. Однажды этот револьвер будет извлечён из места своего хранения и использован против себя.

«*Он нашарил и отодвинул ящик ночного столика, поймал холодный и тяжёлый ком револьвера и, глубоко и радостно вздохнув, раскрыл рот и с силой, с наслаждением выстрелил*» [6, с. 156].

Иван Бунин
«Митина любовь» (1924)

Наряду с переживающим героем И. Бунина самоубийство совершают и реальные люди. В истории русской и советской культуре есть достаточно примеров, когда именно так интеллектуалы заканчивали мучительный диалог с реальностью. А. Радищев, С. Мусин-Пушкин, В. Маяковский, А. Фадеев, С. Есенин, М. Цветаева, Л. Брик, Г. Шпаликов, Л. Аронзон, Б. Рыжий, А. Башлачёв и т. д.

Есть примеры, когда оружие направляется на других людей, волей-неволей ставших на пути отчаявшегося, либо, наоборот, вдруг осознавшего свою силу, субъекта.

Сталь, звонкий клинок имеют куда более высокую ценность для своего обладателя, нежели драгоценные металлы.

В частности, вспомним, как у Валерия Брюсова:

Но не эти тени дороги в металле!
Не сравню их блестки я с кинжальным блеском.

Валерий Брюсов
«К металлам» (1899)

Оружие направляется и на животных. Вспомним загадочную Аглаю из «Идиота» Ф. Достоевского, стреляющую из самодельного лука по голубям, или автобиографического двойника самого Ивана Бунина в «Жизни Арсеньева», убивающего беспомощного грача отцовским кинжалом. Оружием может стать и простая булавка, которую Илюшечка Снегирёв спрятал в хлебном мякише.

Как мы можем увидеть, эстетическое тяготение оружием — специфическим инструментом сопротивления испытывают не только представители высших социальных страт, но и разночинцы[1].

[1] Вообще, видимо, у каждого, кто постепенно знакомится с рассуждениями автора, есть знакомые, собирающие какое-либо оружие (реплики), и с упоением демонстрирующие собственные коллекции, сопровождая показ подробным комментарием. Возможно, увлечение исторической реконструкцией есть такой же комплекс, покрывающий таинственные желания, бродящие в человеке.

Дискурс сопротивления в текстах интеллектуалов

И если разночинец или интеллектуал могут относительно открыто вступать в конфронтацию с режимом в благоприятных условиях политического кризиса, в период революционной нестабильности, то в момент сжатия политической системы, её закукливания, становится не до свободной демонстрации инструментов сопротивления.

Протест уходит в тень, становясь иносказательным, метафоричным. В противном случае, политическая система реагирует очень жёстко. Как однажды отметит в «Порабощённом разуме» польский интеллектуал Чеслав Милош, Ссылка поэта вынужденное явление из-за того, что захвативший власть в стране контролирует и язык этой страны [16].

Интеллектуалы вынуждены прибегать к различным фигурам умолчания. Вместо радикального, конкретного жеста, интеллектуал прибегает к иносказанию. В тот самый момент его орудиями становятся ручка, карандаш, пишущая машинка. Это — своеобразные метафоры пера, в которых проступает пушкинский текст (Пушкин никогда не был за границей и был вынужден испытывать на себе «прелесть» внимания влиятельных цензоров — *прим. А.С.*).

Вспомним, как у Иосифа Бродского:

Скрипи, моё перо, мой коготок, мой посох.

Иосиф Бродский
«Пятая годовщина» (1977)

И перо скрипит, как чужие сани.

Иосиф Бродский
«Эклога 4-я (Зимняя)» (1977)

Разочарование в последствиях «Оттепели» в СССР приводят к тому, что расцветают различные формы искусства, метафоризирующие жесты сопротивления. После разогнанной Н. Хрущёвым выставки в Манеже в 1962 г. представителей авангардной молодёжи, получают практики квартирных выставок. Интеллектуалы начинают говорить на языке живописи. Некоторые авторы, уже на тот момент времени известные в западной прессе, в СССР маргинализируются [25, с. 24—25].

Убежищем для жестов сопротивления становится национальная культура.

Достаточно вспомнить, какой резонанс могло иметь творчество Сергея Параджанова, обращавшегося к малым культурам, к их фольклору. Неравное сосуществование с советским нарративом, в частности, присутствует в обращении к гуцульской культуре в х/ф «Тени забытых предков». Всё чаще в национальных культурах можно видеть обращение к селу, с удовольствием поэтизирующее интеллектуалами. В частности, подобные акценты часты в литовской культуре сопротивления. Людмила Алексеева, описывая «мягкое» сопротивление 1960-х гг., также отмечала его акцент на национальной культуре. Увлечённость малой культурой, уход в искусство, проявлявшийся через коллекционирование писанок, рушников или исполнение рождественских колядок, мог также рассматриваться как альтернативное говорение [1, с. 13—15].

Оттепельная реальность порождает практику, когда интеллектуалы должны были сами обеспечивать себя информацией. В тоталитарной машине их высокие потребности в текстах не могли быть удовлетворены. С этим и связана популярность самиздата и тамиздата. В тот момент это были способы диалога с советской аудиторией и поклонниками на Западе. Самиздат и тамиздат рассматриваются как попытки преодоления репутации культуры как «молчащей», как некогда высказался о ней И. Берлин [4]. Советская культура перенимает печальную традицию от несвободной русской культуры. Чего только стоят слова Александра Герцена о Николае I, «держащим тридцать лет кого-то за горло, чтобы тот не сказал чего-то» [23, с. 9].

Александр Галич в стихотворении «Мы не хуже Горация» (1966) как будто бы классифицирует основные тактики интеллектуалов — нынешних Горациев — по презентации собственных текстов. А. Галич метафорично свидетельствует о трёх тактиках: выставках неофициального искусства («Но стоит картина на подрамнике»), самиздатовском литературном творчестве («Эрика» берёт четыре копии»), а также магнитофонных записях («Есть магнитофон системы Яуза»). Все эти практики, так или иначе, обобщают самые популярные способы демонстрации собственных текстов. Каждый способ по-своему оппонировал официальному языку власти, выступая своеобразной формой самиздата.

«Картина на подрамнике» у А. Галича — это мир неофициального искусства, раскрывавшийся в творчестве художников-нонконформистов. Этот дискурс противопоставлял себя официальному искусству и вырабатываемому в его доктринах актуальным пластическим и идеологическим стандартам. На контрасте с праздничной и блистательной советской реальностью, могла существовать «другая», альтернативная реальность, открывающаяся представителям советской контркультуры из подпольных локусов. Неслучайно, творчество художников-нонконформистов осуществляется на периферии, на маргиналиях системы. Давление режима вынуждает к этому. Специфика альтернативного языка говорения обусловлена именно этим обстоятельством. Отсюда, неслучайно, что альтернативное искусство начинает гнездиться «в практиках частных, квартирных выставок» [19, с. 55]. Совершенно неслучайно, что оказавшееся под запретом искусство стало очень популярным, и представленным в настоящий момент гораздо шире в частных собраниях, нежели в экспозициях официальных музеев и галерей.

Исследователь советской культуры Алексей Юрчак объясняет популярность самиздата особым миром конкретных групп, спаивавшимся «коллективными исследованиями, общей интеллектуальной увлечённостью, схожими культурными интересами» [24, с. 279]. Объяснение популярности самиздатовских текстов, особый музыкальный и художественный вкус и т. д. следует объяснять условиями самой среды, определёнными эстетическими стандартами, существующими на «входе» в неё.

Строчка А. Галича о том, что «Эрика» берёт четыре копии» не лишена реальных оснований. Немецкая пишущая машинка тогда технически не могла пропечатать больше, чем четыре копии текста, переложенных копировальной бумагой. Отсюда, следует ограничение самиздатовских тиражей, их редкость, престижность обладания одним из оригиналов.

Магнитофон системы «Яуза» служит частью тактики презентации текста через авторские записи собственных выступлений на вечерах и квартирниках, равно, как и прослушивание уже существующих плёночных записей. Официальная культура обращается к аудитории с помощью идеологически выверенных текстов и проверенных исполнителей, что, безусловно, не может удовлетворить взыскательного интеллектуала. Он нуждается в другом музыкальном и литературном меню, что вызывает к жизни параллельные практики звукозаписи. Именно благодаря им до современников дошли аутентичные голоса советской неофициальной культуры. В конце 1950-х — начале

1960-х гг. в СССР получила распространение практика записи на рентгеновских снимках. С помощью определённой технологии копирования могли воспроизводиться необходимые записи на нарезанных дорожках снимков рентген-аппаратов, получившие название «рок на костях». Как отмечает С. Юрчак, советский человек, заинтересованный в других практиках говорения, «слушал и рассматривал то, что существовало повсюду, но оставалось вне поля зрения и слуха системы, что было одновременно чем-то несуществующим и реальным, глубоко личным, даже сугубо интимным» [24, с. 359].

Таким образом, дискурс сопротивления в советской культуре, несмотря на давление со стороны системы, мог состоять из достаточно разнообразных текстовых форм, производимых неофициальной культурой.

Молчание и пустота: языковая тактика интеллектуала

Если есть официальная культура, то *другой* культуры для неё не существует. Всё другое замалчивают, о нём не говорят. Отсюда, в политическом дискурсе сопротивления в СССР и берут своё начало попытки воспроизведения пустоты, молчания, пауз, становящихся лексиконом исключённой культуры.

Наиболее заметны практики создания пустоты в неофициальном художественном искусстве и литературе. В этом смысле понятно внимание художников к заброшенным местам, пустырям, унылым, оставленным объектам. Безусловно, что подобные хронотопы могут притягивать к себе странных людей, на которых проецируется печаль и упадок окружающего пространства. Коммуникации подобных людей довольно рациональны и очищены от всяких утончённостей. Они — суровые дети советской реальности. Именно такие люди и пространства могут быть изображены на работах Евгения Кропивницкого и Оскара Рабина. Немногословные и грубые фигуры смотрят на зрителя с экспериментальных работ представителей «сурового стиля». Молчание, в котором успешно сохраняется культура, выступает эффективной стратегией выживания и советского человека.

Барачная эстетика Лианозово сказывается на языке, характерном и для поэтов, меткое слово которых резко и точно вскрывало общую топографию заброшенных мест. Отсюда, в текстах поэтов, причисляемых к «лианозовской» группе, много пауз и многоточий, будто означающих необходимость в передышке. Произвольные авторские знаки, подчёркивающие сомнение, сложность проговаривания отдельных моментов, общую неблагоприятствующую атмосферу для диалога, метафоризация тишины — всё это условные техники производства пустоты и в самом языке. Система явно не благоприятствует душевным излияниям, иностранная литература может быть запрещена, цензура значительно зачищает любые опасные аналогии.

Молчание является раствором, на котором выстраивается и сам материальный мир, что демонстрируют художественные эксперименты Андрея Монастырского. Много молчания и пустоты в политических перформансах группы «Коллективные действия».

Здесь голову я положу на плечи
Тебе одной, которую не знаю.
Когда-то вместе жили мы здесь долго...
Андрей Монастырский
«Темы» (1972—1973)

Речь значительно сковывается, обедняется, что синхронизирует с лексиконом маргиналов — интеллектуалы умышленно приводят свой язык к языку низших социальных слоёв. Экспериментирование с языком напоминает стёб над системой, очень тонкий, интеллектуальный троллинг. Это угадывается в текстах Дмитрия Пригова, Генриха Сапгира, Игоря Холина и др.

У поэтов, эстетизирующих пустоту, есть и референтные предшественники. Что касается литературных форм, то эксперименты с языком обериутов могут служить точкой отталкивания, конструирования аналогий в условиях не слишком благоприятствующей для свободного творчества политической реальности. Культура, вырастающая в трудных, неблагоприятных условиях, заимствует у своей предшественницы наиболее эффективные способы управления поэтической экспрессией. В пустоте и молчании, возможно, следует отыскать и некоторые оптимистические мотивы. Пустота — реальность, оставшаяся после жёсткого правления, может вдыхать в себя новую жизнь, разрабатываться институтами гражданского общества — проявлениями публичности, о которых высказывался Юрген Хабермас. Одной из стадий политического процесса является конституирование, утверждение неких норм и правил, определение акторов, установка их целей и интересов. Пустое место способно достаточно быстро наполниться политической жизнью.

Вместо заключения

Не вызывает сомнение тот факт, что интеллектуал, шифрующий свои тексты разнообразными метафорами сопротивления, а также использующий язык говорения и умолчания, готов ревностно охранять свои принципы. В подобной практике защиты собственного текста, в стремлении максимально сохранить его аутентичность, может присутствовать сочетание нетерпимости и смирения. Радикальные жесты с использованием реального оружия могут причудливо варьироваться с витиеватым языком сопротивления человека, вынужденного преодолевать непростую политическую реальность. В этих крайностях человек может быть необъясним. Эпизодичность сопротивления в русской культуре восходит к необъяснимости самого человека. «Ничего не может быть любопытнее этих странных вспышек нетерпения и строптивости. Часто человек терпит несколько лет, смиряется, выносит жесточайшие наказания и вдруг прорывается на какой-нибудь малости», — пишет Ф. Достоевский в «Записках из Мёртвого дома» [14, с. 13].

Было бы ошибкой увидеть в стремлении человека сопротивления исключительно ненависть, которой отравляется окружающее пространство, своеобразный ресентимент, о котором подробно высказывался в своё время немецкий политический философ Макс Шелер [22, с. 19—32]. Если захотеть, можно увидеть в экзистенциальных жестах человека сопротивления и заманчивый эстетический горизонт, что может быть видно на представленных выше примерах. В результате выпадающих на него испытаний, как однажды замечательно высказался Юрий Борев, человек может вырасти духовно, найдя в себе силы возвратиться к самому себе, «к новой и более осложнённой миром основе» [5, с. 265].

Безусловно, постоянное присутствие интеллектуала в политическом пространстве, и испытываемое им политическое давление, оказывает сильнейшее влияние на его творческое наследие, на создаваемые им тексты. Помимо политической рамки, значительно корректирующей интеллектуала в русской культуре, им постоянно ощущается общественная миссия. Интеллектуал в русской культуре может испытывать исторически обусловленную, едва ли не подступающую необходимость говорить для народа и ради народа.

1. Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. Вильнюс ; Москва : Весть, 1992. 352 с.
2. Беньямин В. Берлинское детство на рубеже веков. М. : Ад Маргинем — Пресс ; Екатеринбург : Кабинетный учёный, 2012. 144 с.
3. Берлин И. История свободы. Россия. М. : Новое литературное обозрение, 2001. 544 с.
4. Борев Ю. Эстетика. М. : Издательство политической литературы, 1975. 399 с.
5. Бунин И. А. Собрание сочинений : в 4 т. Т. 3. М. : Правда, 1988. 543 с.
6. Гарр Т. Почему люди бунтуют. СПб. : Питер, 2005. 461 с.
7. Глухова А. В. Искушения несвободы (интеллектуалы во времена испытаний // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Философия. 2009. № 1. С. 4—23.
8. Глущенко И. Барабанщики и шпионы. Марсельеза Аркадия Гайдара. М. : Изд. дом Высш. шк. экономики, 2015. 96 с.
9. Глюксман А. Философия ненависти. М. : АСТ, 2006. 284 с.
10. Гофф Ж. Л. Интеллектуалы в средние века. СПб. : Из-во С.-Петерб. ун-та, 2003. 160 с.
11. Дарендорф Р. Дорога к свободе: демократизация и её проблемы в Восточной Европе // Вопросы философии. 1990. № 9. С. 69—75.
12. Дмитриев А. В. «Я вырос среди народа...». Липецкий край в жизни и творчестве И. А. Бунина. Липецк : Ориус, 2007. 495 с.
13. Достоевский Ф. М. Записки из мёртвого дома. Униженные и оскорблённые. М. : Правда, 1984. 480 с.
14. Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. М. : Политиздат, 1990. 415 с.
15. Милош Ч. Порабощённый разум. М.: Летний сад, 2011. 285 с.
16. Набоков В. Собрание сочинений : в 4 т. Т. 4. М. : Правда, 1990. 479 с.
17. Паустовский К. Поэтическое излучение. М. : Молодая гвардия, 1976. 432 с.
18. Розанов В. В. Полное собрание «опавших листьев». Кн. 2: Смертное. М. : Русский путь, 2004. 191 с.
19. Скиперских А. В. Художник между властью и сопротивлением: проблемы идентификации // Вестник Пермского университета. Политология. 2017. № 2. С. 47—59.
20. Трифонов Ю. Московские повести. М. : Советская Россия, 1988. 480 с.

21. Фуко М. Восставать бесполезно? // Неприкосновенный запас. 2010. № 5 (79). С. 16—20.

22. Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. СПб. : Наука, Университетская книга, 1999. 231 с.

23. Эйдельман Н. Я. Герцен против самодержавия. Секретная политическая история России XVIII—XIX вв. и Вольная печать. М. : Мысль, 1984. 317 с.

24. Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М. : Новое литературное обозрение, 2014. 664 с.

25. Les Estampes // L`Union Sovietique. 1962. № 144. P. 24—25.

References

1. Alekseeva L. (1992) Istoriya inakomysliya v SSSR. Vilnus, Moscow, Vest`, 352 p. [in Rus].

2. Benjamin W. (2012) Berlinskoe detstvo na rubezhe vekov. Moscow, Ad Marginem — Press, Ekaterinburg, Kabinetnyj uchenyj, 144 p. [in Rus].

3. Berlin I. (2001) Istoriya svobody. Rossiya. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie, 544 p. [in Rus].

4. Borev Yu. (1975) Estetika. Moscow, Izdatel'stvo politicheskoj literatury, 399 p. [in Rus].

5. Bunin I.A. (1988) Sobranie sochinenij: v 4 t. T. 3 [Collected Works in 4 Volumes]. Moscow, Pravda, 543 p. [in Rus].

6. Garr T. (2005) *Pochemu lyudi buntuyut*. Saint Petersburg, Piter, 461 p. [in Rus].

7. Glukhova A.V. (2009) *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filosofiya,* no. 1, pp. 4—23 [in Rus].

8. Glushchenko I. (2015) Barabanshchiki i shpiony. Marsel'eza Arkadiya Gajdara. Moscow, Izdatelskij dom Vysshej shkoly ekonomiki, 96 p. [in Rus].

9. Glyuksman A. (2006) Filosofiya nenavisti. Moscow, AST, 284 p. [in Rus].

10. Goff Zh. (2003) Intellektualy v srednie veka. Saint-Petersburg, Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 160 p. [in Rus].

11. Dahrendorf R. (1990) *Voprosy filosofii,* no. 9, pp. 69—75 [in Rus].

12. Dmitriev A.V. (2007) «Ya vyros sredi naroda...». Lipeckij kraj v zhizni i tvorchestve I.A. Bunina. Lipeck, Orius, 495 p. [in Rus].

13. Dostoevsky F.M. (1984) Zapiski iz myortvogo doma. Unizhennye i oskorblyonnye. Moscow, Pravda, 480 p. [in Rus].

14. Camus A. (1990) Buntuyushchij chelovek. Filosofiya. Politika. Iskusstvo. Moscow, Politizdat, 415 p. [in Rus].

15. Milosz Ch. (2011) Poraboshchyonnyj razum. Moscow, Letnij sad, 2011. 285 p. [in Rus].

16. Nabokov V. (1990) Sobranie sochinenij: v 4 t. T. 4. Moscow, Pravda, 479 p. [in Rus].

17. Paustovsky K. (1976) Poeticheskoe izluchenie. Moscow, Molodaya gvardiya, 432 p. [in Rus].

18. Rozanov V.V. (2004) Polnoe sobranie «opavshih list'ev». Kn. 2: Smertnoe. Moscow, Russkij put', 191 p. [in Rus].

19. Skiperskikh A. (2017) *Vestnik Permskogo Universiteta. Politologiya*, no. 2, pp. 47—59 [in Rus].

20. Trifonov Yu. (1988) Moskovskie povesti. Moscow, Sovetskaya Rossiya, 488 p. [in Rus].

21. Foucault M. (2010) *Neprikosnovennyj zapas*, no. 5 (79), pp. 16—20 [in Rus].

22. Sheler M. (2010) Resentiment v strukture moralej. Saint Petersburg, Nauka, Universitetskaya kniga, 231 p. [in Rus].

23. Eydelman N. (1984) Gertsen protiv samoderzhaviya. Sekretnaya politicheskaya istoriya Rossii XVIII-XIX vekov i Vol`naya pechat. Moscow, Mysl`, 317 p. [in Rus].

24. Yurchak A. (2014) Eto bylo navsegda, poka ne konchilos`. Poslednee sovetskoe pokolenie. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie, 664 p. [in Rus].

25. Les Estampes (1962) *L `Union Sovietique,* no. 144, pp. 24—25 [in Fr].

For citing: Skiperskikh A.V. Intellectuals and political discourse of resistance (sketches of Russian culture) // Socium i vlast'. 2020. № 2 (82). P. 80—89. DOI: 10.22394/1996-0522-2020-2-80-89.

DOI: 10.22394/1996-0522-2020-2-80-89

UDC 321.011

INTELLECTUALS AND POLITICAL DISCOURSE OF RESISTANCE (SKETCHES OF RUSSIAN CULTURE)

Aleksandr V. Skiperskikh,
Bunin Yelets State University,
Professor of the Department Chair of Philosophy and Social Sciences,
Doctor of Political Sciences, Professor.
The Russian Federation, 399770,
Yelets, ulitsa Kommunarov, 28.
E-mail: pisatels@mail.ru

Abstract

In the article, the author shows how the government and the opposition interact in the political process. Actors representing opposition constantly produce political texts illustrating their alternative views. The existence of the opposition subject in a critical state in regards to the existing institutions of power is historically predetermined, which proves an active reflection from prominent theorists of political thought.

A free dialogue of the government and the opposition is hardly possible in every single political system. In the case of totalitarian and authoritarian regimes, this dialogue may be difficult. The consequences of free will for the subject of opposition can be quite severe.

The author analyzes the political discourse of opposition as exemplified by the Soviet culture. The author is interested in the metaphors of opposition and their political context, which seems to be an inevitable condition and framework limiting creativity of one or another intellectual.

The author studies a number of texts of the Soviet culture representatives, who used metaphors of opposition, and had a reputation of troublemakers. Such position of an intellectual generates sanctions of the repressive machine and predetermines very specific forms of presenting texts of opposition and apophasis. For convincing his own arguments, the author constantly turns to the heritage of the USSR representatives of unofficial culture in.

Key concepts:
intellectuals,
political discourse,
resistance,
unofficial culture,
the USSR.